



В. В. РОЗАНОВ

На панихиде по Вл. С. Соловьеву

Небольшой кружок друзей и почитателей покойного Соловьева собрался 30 июля 1901 г. в Сергиевском соборе, на Литейной, на панихиду по нему. Как отвечали дивные слова этого православного служения личности и судьбе покойника! Просто хотелось еще и еще раз выслушать слова напева или слова читаемой молитвы, чтобы конкретно связать их с какою-нибудь памятною его житейскою чертою или прижизненною надеждою. Они так связывались! «Точно чин панихиды для него нарочно придуман» — это мелькнуло у меня раза два в церкви. Я вошел в нее холодный, а ушел растроганный. Невольно хочется вслух сказать и следующее пожелание: чтобы не ограничились ближайшие личные друзья или родные Соловьева этою одною, годовою, формально почти требующеюся, панихидою, но и в следующие годы не поскучали бы заказать такую же панихиду и оповестить о ней через газеты. Его память, очевидно, горячо хранится, и, очевидно, она долго сохранится. Для него же — как представляется духовный и даже физический его лик — никакой разбор его трудов или литературное прославление не надобны так и так горячо не желательны, как простая заупокойная литургия.

Вот уж был странник в умственном, идеином и даже в чисто бытовом, так сказать жилищном, отношении! Сын профессора, с большими правами на кафедру, он не получил «по независящим обстоятельствам» кафедры; внук священника, посвятивший памяти деда «Оправдание добра»¹, он был крайне стеснен в своих желаниях печататься в академических духовных журналах; журналист, он нес религиозные и церковные идеи, едва ли встречая для них распахнутые двери в редакциях. Он пробирался в щелочку, садился пугливым гостем, готовым вот-вот вспорхнуть и улететь со своим двусмысленным смехом. Какой странный у него был этот смех, шумный и, может быть, маскирующий

постоянную грусть. Если кому усиленно не было причин «весело жить на Руси», то это Соловьеву. И где он жил, в Москве ли, в Петербурге ли, у себя ли, у приятелей? Кажется, он чувствовал себя в родном гнезде только у Иматры², которую так часто любил посещать. Должно быть, шум водопада и его фантастический вид, особенно зимою, возбудительно, и хорошо возбудительно, на него действовали. Он так воспел его и биографически сам так с ним связался, что хочется переименовать это местечко угремой Финляндии в «водопад Соловьева».

Дедовская священническая кровь, учено-университетские заботы отца и, наконец, весь духовный пласт наших шестидесятых годов — с их хлопотливыми затеями, шумными отрицаниями и коренным русским «простецким» характером — отразились в Соловьеве. Он был какой-то священник без посвящения, точно несший обязанности, и именно литургические обязанности, на себе. Это заметно было в его психологии. Точно он с вами говорит-говорит, а вот придет домой, наденет епитрахиль³ и начнет готовиться к настоящему, должностному, к завтрашней «службе». Ссылки на Священное Писание, на мнения отцов Церкви, на слова какого-нибудь схимника-«старца» постоянно мелькали в его разговоре. Рядом с этим у него был, хотя не столь коренной, интерес к университету, к состоянию науки, к ученым корпорациям. Сюда примыкала (недолгая и случайная) лекционная сторона. Он любил читать лекции и читал их мастерски. Университет наш потерял в нем огромное возможное влияние на студентов, и влияние идеалистическое, философское. Тут уж приходится посетовать на «неблагоприятное расположение со-звездий», где было решено, что пусть уж лучше читает хоть вахмистр, а только не возбудительный ум. «Тише едешь, дальше будешь» — русская мудрость. Наконец, из-за священника и профессора у него вырывалась личность журналиста, самая бойкая, переменчивая, то колющая, то плачущая, крикливая, самонадеянная: настоящий парфянский наездник, который не давал успокаиваться дремлющему и самодовольному Риму. В образе мыслей его, а особенно в приемах его жизни и деятельности, была бездна «шестидесятых годов», и нельзя сомневаться, что, хотя в «Кризисе западной философии» и выступил он «против позитивизма», то есть против них, — он их, однако, горячо любил и уважал, любил именно как «родное», «свое». Он был только чрезвычайно даровитый и разносторонний «шестидесятник», так сказать король того времени, не узнанный среди валетов и семерок. Духовная структура знаменитой реформационной эпохи была в значительной степени и у Соловьева.

Он начал писать в семидесятых годах. И с людьми 80—90-х годов он уже значительно расходился. Это второе, послереформационное, поколение, было значительно созерцательнее его. У Соловьева было явное желание завязать с ним связь, но она не завязывалась, несмотря на готовность и с другой стороны. В этом втором поколении было заметно менее желания действовать, а Соловьев не умел жить и не действовать. Как-то он мне сказал о себе, что он — «не психолог». Он сказал это другими словами, но заметно было, что он жалел у себя о недостатке этой черты. Действительно, в нем была некоторая слепота и опрометчивость конницы сравнительно с медленной и осматривающейся пехотой или артиллерией. Во всем он был застрелщиком. Многое начал, но почти во всем или не успел, или не кончил, или даже вернулся назад. Но если были неудачны его «концы», то были высокодаровиты и нужны для отечества и славны для его имени выезды, «начатки», первые шаги.

Заметно, как образ его улучшается, очищается после смерти; как и перед самою смертью он быстро становился лучше, как будто именно приуготовлялся к смерти. Разумеем здесь его отречение от горячих и неподготовленных попыток к церковному «синтезу» и вообще быструю его национализацию. Внук деда-священника вдруг стал быстро скидывать с себя мантию философа, арлекинаду публициста. «Схиму, скорее схиму!»⁴ — как будто только не успел договорить он по примеру старорусских людей, московских людей. И хорошо, что умер около Москвы, москвичом. Там ему место — около сердца России.

Мы же не забудем еще и еще поминать его, и именно церковно поминать. Поверим, что это было самое горячее его прижизненное желание.

